12+

Вкус жизни



Виктория Байма

Виктория Байма
Вкус жизни

https://litres.ru/74757724
ISBN 9785007150095

Аннотация

В мире, где линия фронта проходит не только по земле, но и по человеческой душе, герои повести учатся различать что настоящее, а что- отголосок боли. Контузия, госпиталь, потеря дома и писем из родного края- все это делает каждый день испытанием. Но, несмотря на трудности, они любыми силами пытаются хотя бы в последний раз ощутить «вкус жизни». Эта повесть о том, как в самых темных обстоятельствах человек продолжает искать свет и вкус жизни, даже если этот вкус горький.

Содержание

I До начала 6
Глава 1. Перед грозой 7
Глава 2. Эвакуация 17
Глава 3. Испытание 23
Глава 4. Голос, который держит 29
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Вкус жизни

Виктория Байма

© Виктория Байма, 2026

ISBN 978-5-0071-5009-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Черёмуха цвела так густо, будто хотела удержать весну любой ценой. Белые лепестки кружились в тёплом воздухе, будто снег в замедленном времени. Её сладкий, чуть горьковатый запах плыл над двором, смешивался с ароматом свежеиспеченного хлеба, доносящегося из открытого окна, и делал этот день особенно настоящим. А потом с востока донёсся далёкий гул. Вика подняла голову: над лесом висела плотная туча, тяжёлая, почти чёрная.

— Гроза будет, — сказала она, щурясь на небо. — Далеко, но сильная.

Мама выглянула в открытое окно, посмотрела туда же и покачала головой:

— Это не туча, дочка. Это не гроза.

И в её голосе не было паники — только горькое знание, которое приходит не из новостей, а из самой земли, из воз-

духа, из тишины, которая вдруг стала слишком плотной.

Вика всё ещё не понимала. Она смотрела на черёмуху, на открытое окно, на маму, которая смотрела на тучу будто хотела запомнить этот миг навсегда, — и ей казалось, что если ничего не делать, если просто постоять вот так ещё минуту, беда пройдёт стороной.

Но беда уже шла. Просто она пока не торопилась.

I До начала

Глава 1. Перед грозой

Пирожки шипели на сковороде и этот звук — ровный, как дыхание спящего человека — заполнял кухню густым тёплым гулом. Мама стояла у плиты, в старом халате с выцветшими подсолнухами, и её руки двигались привычно и точно: перевернуть, поправить, снять на тарелку, снова перевернуть. Она напевала что-то без слов — не мелодию даже, а так, звук, который идёт оттуда, откуда идут все материнские звуки: из самого тёплого места на земле.

Я сидела за столом, подперев щёку рукой, и смотрела, как мама работает. Это было мое любимое занятие с детства — просто сидеть и наблюдать. Мама ничего не объясняла, ничего не показывала специально, но я впитывала как тесто ложится на горячую сковороду, как масло булькает по краям, как корочка темнеет ровно настолько, чтобы стать хрустящей, но не горелой. Мама готовила так, как дышала — без усилия, без показа, просто потому что это было частью её существования.

— Сядь ровно, — сказала мама, не оборачиваясь, и я вздрогнула. — Спину сгубишь.

— Я ровно сижу.

— Ты сутулишься, как старушка.

Я выпрямилась и улыбнулась. Мама всегда знала, что происходит за её спиной, — без зеркал, без глаз на затылке. Ка-

ким-то своим, внутренним зрением.

В соседней комнате что-то зашуршало, потом послышался папин голос — он кому-то звонил. Я не разбирала слов, но слышала интонацию: он разговаривал спокойно, неспешно, с тем мягким смешком, который появлялся у него, когда он говорил с приятелем. Папа уже был на пенсии, ему редко кто звонил, а если и звонили, то чаще всего ошибаясь номером.

Он закончил разговор, и из комнаты снова послышалось как он стучит пальцами, набирая текст на планшете.

Черемуха за окном цвела так, что казалось: за стеклом не дерево, а облако, опустившееся на землю. Белые гроздья тяжело свисали с веток, и в каждой кисти было столько цветов, что я подумала: вот если бы кто-нибудь захотел пересчитать их, он бы не успел до вечера. Ветер иногда подхватывал отдельные лепестки, и они летели — медленно, лениво, будто им некуда спешить, будто мир будет стоять вечно и можно просто кружиться в тёплом воздухе.

Запах черемухи пробивался даже через форточку — тонкий, сладковатый, с горчинкой. Он мешался с запахом жареных пирожков, с запахом маминого чая (она всегда заваривала густо, почти чёрный, с чуть горелой нотой), я вдохнула и закрыла глаза.

Я не знала, что запоминаю. Я просто дышала.

— Мам, а пирожки долго ещё?

— Терпения нет.

— Нет.

— Я вижу.

Мама обернулась и улыбнулась — быстро, краем рта, как будто стеснялась улыбаться из-за надвигающегося ворчания. У неё были тёмные глаза, чуть влажные, и волосы, собранные в узел на затылке, из которого выбивались серебристые пряди. Она была не то, чтобы красивая, а какая-то настоящая. Таких не рисуют на портретах, но их помнят всю жизнь — по запаху, по голосу, по прикосновению ладони ко лбу, когда не спится.

— Тарелку подай, — сказала мама.

Я встала, достала тарелку из шкафа. Тарелка была старая, с золотистой каёмочкой, слегка потрескавшейся. Я помнила её с самого детства — кажется, она была всегда. Как мама. Как папа. Как черемуха.

Папа появился в дверном проёме в своих домашних тапочках, которые шлёпали по полу.

— Пирожки? — спросил он с такой надеждой.

— Сиди, нахлебник, — сказала мама, но уже ставила перед ним тарелку.

Папа сел, откусил, зажмурился и издал звук, который невозможно описать словами, — что-то между мычанием и благодарностью. Мне стало смешно. Мама фыркнула, но губы дрогнули.

— Что я тебе говорила? — обратилась мама ко мне. — Пирожки с луком и яйцом. А он: «Может, с капустой». С капустой он бы три съел и ещё бы попросил. С луком — пять

и молчит.

— Я молчу от уважения, — сказал папа с набитым ртом.

— Ты молчишь, потому что боишься, что я ещё одну партию жарить не буду.

— Боюсь, — честно признал он.

Я смотрела на них и думала: вот так, наверное, и выглядит счастье. Не громкое, не с фанфарами, а вот это — тёплая кухня, пирожки, папин смех, мамино ворчание, черемуха за окном. Ничего особенного. Ничего, что стоило бы фотографировать или рассказывать о чьём-то волшебном дне. Просто жизнь, обычная, простая, понятная. Я подумала: если бы кто-нибудь сейчас спросил меня, в чём смысл, я бы не нашла что сказать. Но зато знала бы точно, что смысл пахнет пирожками и черемухой.

Я подошла к окну. Лепестки лежали на подоконнике, на земле, на ветке соседской вишни. Двор был тихий — бабушка Нина вынесла стул и сидела на солнышке, прикрыв глаза. Где-то на улице играли дети, и их голоса долетали сюда, как птичий щебет — отрывками, неразборчиво. Кот Рыжий, дворовый, лежал на капоте чьей-то машины и лениво махал хвостом. Всё было так медленно, так тихо, так правильно, что хотелось остановить время. Просто поставить на паузу и остаться здесь, в этой минуте, навсегда.

Я раскрыла форточку шире, и запах черемухи хлынул в кухню — густой, почти осязаемый, сладкий до головокружения. Я высунулась чуть наружу и вдохнула глубоко, до самых

лёгких. Воздух был тёплым, чуть влажным, и в нём чувствовалась та особенная, майская мягкость, которая бывает только в конце весны, когда ещё не жарко, но уже не холодно, и всё живое тянется вверх, к свету.

— Закрой, сквозняк, — сказала мама.

Мне пришлось закрыть и вернуться к столу. Папа доедал последний пирожок и смотрел на пустую тарелку с таким сожалением, будто провожал близкого друга в дальнюю дорогу.

— Ещё будут? — спросил он.

— Будут, — сказала мама. — Завтра.

— Завтра, — повторил он, и в его голосе было столько философского смирения, что я снова засмеялась.

Мама села рядом, пододвинула к себе чашку с чаем, обхватила её ладонями. Ногти у неё были коротко остриженные, без лака — руки, которые работают, а не красуются. На безымянном пальце — простое золотое кольцо, тонкое, чуть стёршееся от лет. Я помнила, как в детстве примеряла его, и оно налезало только на большой палец. «Подрастёшь — будет впору», — сказала мама. И я росла, и кольцо подходило, но так и осталось маминой вещью.

— Чай будешь? — спросила мама, и я кивнула, не потому что хотела, а потому что от маминого чая нельзя отказываться. Это как отказаться от объятий, которые тебе предлагают.

Чай был горячий, почти обжигающий, тёмный, как старое дерево. Я подула на край чашки, и пар заплыл мне в глаза,

затуманив кухню. На секунду всё стало нерезким, мягким, будто нарисованным акварелью: мамины руки, папино лицо, белое пятно черемухи за окном. Я отпила глоток. Вкус был такой, каким он был всегда — чуть горьковатый, с терпкостью, с теплом, которое идёт не от температуры, а от чего-то другого, чему нет названия. Я подумала: вот это и есть вкус. Не пирожков, не чая, не черемухи. А чего-то, что стоит за всем этим. Дома. Рода. Тепла. Жизни.

Папа встал, прошёл в комнату. Слышно было, как он сел в кресло, как скрипнули пружины. Потом щёлкнуло — он включил телевизор. Звук был тихий, привычный фон, как шум воды или ветер за окном. Я не слушала. Я сидела рядом с мамой и пила чай, и думала, что сегодня хороший день. Один из тех, которые не запоминаются, потому что в них ничего не случилось. Но именно из таких дней и складывается счастье — тихо, без событий, без громких слов. Просто жизнь.

Мама вдруг положила руку поверх моей ладони и сжала — коротко, крепко, будто поймала что-то ускользающее.

— Что? — спросила я.

— Ничего, — сказала мама. — Просто.

И я поняла. Потому что матери иногда делают так — берут за руку без причины, просто чтобы почувствовать, что ты рядом. Что ты есть. Что ты здесь, в тепле, дома, и ничего не угрожает. Это жест, который ничего не просит и ничего не объясняет, но от которого становится спокойно так, как не

бывает ни от каких слов.

— Мам, — сказала я тихо.

— Что?

— Я тебя люблю.

Мама посмотрела на меня — внимательно, долго, так, как смотрят, когда хотят запомнить лицо.

— Я знаю, — сказала она. — Иди к отцу, узнай, что там по ящику показывают. А то сядет за свои новости и не оторвёшь.

Я встала, допивая чай на ходу, и прошла в комнату. Папа сидел в кресле, откинувшись на спинку, и смотрел телевизор. Экран мерцал в полумраке — шторы были наполовину задёрнуты, и солнце ложилось на полу косой полосой, в которой плясали пылинки, маленькие и тёплые, как искры от костра.

Я села на диван, подтянув колени к груди. На экране шла передача — что-то про погоду, про урожай, про дороги. Обычное, милое, скучное. Папа щёлкал каналы, и картинки мелькали, как виды из окна движущегося поезда: вот поле, вот город, вот люди, вот снова поле.

А потом он остановился.

На экране была студия новостей. Женщина-диктор говорила ровным, отрепетированным голосом, но я заметила: у неё чуть дрожал подбородок. Совсем чуть-чуть, едва заметно — как у людей, которые держатся, но с трудом.

Папа перестал щёлкать. Мама появилась в дверном про-

ёме с полотенцем на плече — вытирала руки. Она тоже смотрела.

Диктор сказала несколько слов. Потом ещё несколько. Потом экран сменился на картинку: здания, дым, люди в форме, движение техники. Камера дрожала, и от этого дрожания внутри у меня что-то тоже начало дрожать — тонко, на самом дне, там, где живёт не разум, а чутьё.

— …введены войска… вооружённый конфликт… мобилизация…

Слова падали, как капли холодной воды на горячую сковороду. Каждое — шипело, испаряло что-то, забирало тепло.

Я не сразу поняла. Сначала — телом, не головой. Сначала почувствовала, как сжалось что-то под рёбрами, как похолодели ладони, как спина стала прямой без её участия. А потом дошло.

Война.

Я повернулась к папе. Он сидел неподвижно, с пультом в руке, и смотрел на экран. Лицо у него было такое, какого я никогда не видела: не испуганное, нет. Скорее — очень внимательное. Как будто он слушал не диктора, а что-то внутри себя, какой-то свой голос, который всегда знал, что однажды этот день наступит.

Мама подошла и встала за креслом. Её руки легли на папины плечи. Она молчала. Он молчал. Я смотрела на них и думала: вот сейчас. Вот сейчас что-то начинается.

Черемуха за окном всё ещё цвела. Лепестки всё ещё кру-

жились. Но запах, который минуту назад казался мне сладким и родным, вдруг стал чужим — слишком сладким, слишком громким, как будто черёмуха не чувствовала, что мир изменился, и продолжала цвести, как ни в чём не бывало.

Я встала. Подошла к окну. Прижалась лбом к стеклу — так же, как час назад, когда смотрела на лепестки. Но теперь стекло казалось холоднее. И двор — тише. И бабушка Нина уже ушла, и кот Рыжий спрыгнул с капота, и дети за домом замолчали.

Я не знала, что прощаюсь. Не знала, что этот запах — пирожков, черёмухи, папиных лекарств, маминого чая — станет тем, к чему я буду возвращаться потом, в самых тяжёлых минутах, как к маяку. Не знала, что запомню мамины руки на папиных плечах, и эту тишину, и пылинки в луче света, и звон пустой тарелки на столе, которую никто не убрал.

Я просто стояла у окна и смотрела, как лепестки черёмухи медленно ложатся на землю.

За спиной мама тихо сказала:

— Ну, вот.

Мука осела легкой пеленой,
В печи румянится пирог простой,
Здесь каждый миг как тихий дом,
Который я вспомню, но потом.
Черемуха цветет среди тревожных дней,
Не зная ни потерь, ни горьких новостей.

Ее цветы, как тихие слова надежды,
Сквозь холод звучат все так же нежно.

Глава 2. Эвакуация

Поезд стоял на путях, будто не решался уехать. Он был длинным, серым, с чёрными пятнами копоти, и от него пахло железом, углём и чужим страхом. Вокзал гудел, как растревоженный улей: голоса сливались в один сплошной гул, в котором невозможно было разобрать ни слова, только интонации — крик, плач, торопливую просьбу. Люди несли узлы, чемоданы, корзинки, детей на руках; кто-то тащил клетку с курицей, кто-то — стопку книг, кто-то вообще ничего, только взгляд, в котором читалось: «Только бы успеть».

Я стояла у перрона, прижимая к груди маленький чемоданчик, в который мама в последний момент сунула тёплый свитер связанный накануне, две пары носков и баночку варенья. «На всякий случай», — сказала она, застёгивая молнию дрожащими пальцами. И я не спорила, а просто кивала, потому что слова застревали в горле, а кивать было легче.

Когда объявили посадку, толпа качнулась вперёд. Кто-то закричал, кто-то заплакал, кто-то начал ругаться, но ругань тут же тонула в общем шуме. Тут я почувствовала, как тянет вперёд, как будто сама толпа стала живым существом, которое волочёт всех за собой.

Они втиснулись в вагон — не в купе, а в общий, где на одной лавке сидели пятеро, а на верхней полке уже кто-то лежал, укрывшись пальто. Пахло пылью, старыми вещами и

тревогой — такой густой, что её можно было бы потрогать.

Рядом со мной села женщина с двумя детьми. У неё на коленях лежала кукла с оторванной рукой, и она машинально гладила её, как живое существо, будто так можно было удержать хоть что-то из прежней жизни. Напротив — старик в поношенном пальто, он смотрел в окно, не моргая, будто пытался запомнить каждый столб, каждый поворот, каждый дом, мимо которого они проезжали.

Поезд дёрнулся. Сначала едва заметно, потом сильнее. И наконец пошёл — медленно, тяжело, будто сам не верил, что ему нужно уезжать.

Я прижалась лбом к стеклу. За окном мелькали знакомые улицы: вот моя школа, вот магазин, где мама покупала хлеб, вот скамейка у одного из домов, на которой летом сидели старушки и обсуждали новости. Всё это проносилось мимо, как кадры из старого фильма, который я уже видела, но не могла вспомнить, чем он закончился.

Мои родители остались дома, они не пожелали покидывать родной дом. — Ничего, — прошептала мама. — Ты поедешь туда, где будет спокойно. Там тебя встретят. Там будет крыша над головой.

Но в её голосе не было уверенности. В нём была надежда — тонкая, как нитка, которую легко порвать одним неловким движением.

Через несколько часов город остался позади. Теперь за окном тянулись поля, перелески, редкие деревни. Солнце са-

дилось, окрашивая небо в розовые и сиреневые тона — такие красивые, что казалось почти несправедливым, что мир может быть таким прекрасным и таким страшным одновременно.

В вагоне стало темнее. Кто-то зажёг керосиновую лампу, и её тусклый свет сделал лица людей ещё более усталыми, будто тень легла на них раньше времени. Дети притихли, прижавшись к матерям. Старик закрыл глаза. Женщина с куклой тихо напевала что-то без слов, чтобы убаюкать младшего ребёнка.

Но я никак не могла уснуть. Все смотрела, как мелькают в темноте столбы, как вспыхивают и гаснут огоньки в редких домах, как небо становится всё темнее, а звёзды — всё ярче. И вдруг мне показалось, что слышу голос мамы — не тот, который был здесь, в вагоне, а тот, из кухни: «Сядь ровно, спину сгубишь». И запах пирожков — не настоящий, а воспоминание, такое сильное, что на секунду стало тепло.

Я закрыла глаза, пытаясь удержать этот запах, этот голос, этот свет от лампы, который сейчас казался мне таким же родным, как свет на нашей кухне. Но запах уходил, растворялся в запахе железа, угля и чужого страха.

На одной из станций поезд остановился надолго. Люди высыпали на перрон, кто-то побежал к колонке за водой, кто-то просто стоял, вдыхая прохладный ночной воздух. Я вышла вместе с ними. Платформа была пустой, тихой, только где-то далеко лаяла собака, и этот одинокий звук казался

особенно громким в тишине.

Вдруг по толпе пробежал шёпот: «Бомбят впереди. Дальше не поедем».

Тусклый свет подрагивал, гас и мерцал,
Каждый взгляд в темноте будто крик выражал.
Люди жались друг к другу, теряя слова,
А по рельсам уже надвигалась волна.
Поезд дернулся, взял немного разбег,
Будто верил: уедем, спасемся, доедем.
Но на станции голос прорвался сквозь снег
«Бомбят, в укрытие! Мы не доедем»

Люди замерли, как птицы перед бурей. Потом кто-то снова побежал — уже не к колонке, а к вагонам, будто там было безопаснее.

— Надо идти пешком, — сказал мужчина, подходя к толпе. Его лицо было спокойным, но было заметно, как напряжены его плечи. — Дальше состава не будет. Надо искать другой путь.

И они пошли. По тёмной дороге, мимо спящих домов, мимо полей, которые пахли травой и дождём. Шли молча, потому что говорить было тяжело, а каждый шаг требовал всех сил. Дети устали и плакали, взрослые несли их на руках. Кто-то спотыкался, кто-то тихо ругался, но никто не останавливался. Все знали: остановиться — значит сдаться.

К утру они добрались до небольшого городка. Здесь уже

были люди в военной форме, женщины в белых халатах, столы, за которыми записывали имена, раздавали хлеб и направление.

— Медсестры нужны, — сказала одна женщина, глядя на меня. У неё были усталые глаза, но голос звучал твёрдо. — У тебя есть опыт?

Я кивнула. Я не знала, что именно считать опытом — ночные дежурства на скорой, умение не падать в обморок при виде крови, способность успокоить плачущего человека, одним словом. Но точно знала, что могу быть полезной.

— Тогда пойдёшь с нами. Там госпиталь. Там сейчас нужнее всего руки.

И пошла. Госпиталь оказался в старом здании школы. Коридоры были заставлены кроватями, в классах стояли носилки, в воздухе висел запах йода, хлорки и крови — резкий, въедливый, такой, который въедается в кожу и остаётся там навсегда.

Первая смена началась сразу. Не было времени на знакомство, на объяснения, на «посмотри, как мы работаем». Был раненый, которого нужно было перевязать, был другой, которому нужно было дать воды, был третий, который кричал от боли, и его нужно было успокоить.

Я работала на автомате. Руки делали то, чему научились на скорой: прижимали, бинтовали, держали, шептали: «Тише, тише, сейчас станет легче». Я не думала о том, что это война, что где-то стреляют, что мама осталась позади. Я ду-

мала только о том, как правильно наложить повязку, как не задеть рану, как сделать так, чтобы человек перестал кричать.

Когда смена закончилась я вышла во двор, где было темно и тихо, и только где-то далеко стрекотал сверчок — обычный, летний, будто ничего не случилось. Сев на ступеньку, опустила голову и вдруг поняла: дом остался где-то там, за спиной, и я не знаю, что ждет нас впереди.

Но здесь, в этом госпитале, у меня была работа. Здесь я была нужна. И этого пока было достаточно.

Глава 3. Испытание

Госпиталь не спал. Он дышал тяжело, прерывисто, с хрипом и стонами, как раненый зверь. В коридорах горели тусклые лампы, отбрасывая длинные тени, которые будто жили своей жизнью: дёргались, ползли по стенам, сливались и снова распадались. Я стояла у окна в бывшем кабинете директора, а теперь — перевязочной, и смотрела, как темнота обнимает двор. Там, за оградой, была другая жизнь — тихая, ночная, без криков и бинтов. Но сюда она не доходила.

— Не стой столбом, — тихо сказала старшая медсестра, проходя мимо. Голос у неё был шершавый, будто его сточило время и сотни бессонных ночей. — Если застынешь сейчас — потом не оттает.

Я кивнула и вернулась к столу. На нём лежали бинты, ножницы, склянки с йодом и перекисью — всё самое простое, самое необходимое. Ничего лишнего. Ничего, что могло бы утешить, кроме дела.

Первого раненого принесли на носилках. Молодой парень, кажется лет двадцати, не больше. Лицо бледное, губы синие, глаза закрыты, но ресницы вздрагивали — он был где-то на грани между болью и забытием. Тут я вспомнила, как на скорой учили: «Не давай им проваливаться в темноту, держи за голос».

— Эй, слышишь меня? — я наклонилась к нему, стараясь

говорить ровно, без дрожи. — Меня зовут Вика. Ты сейчас в госпитале. Тебе помогут. Только не закрывай глаза, ладно? Смотри на меня.

Парень не ответил, но пальцы на простыне чуть сжались. Этого хватило.

Старшая кивнула:

— Держи его так. Я сниму повязку.

Запах крови был другим, не таким, как в мирной больнице. Он был гуще, тяжелее, будто в нём оседала сама война. Я чувствовала его кожей, он въедался в волосы, в одежду, в память. Но не отворачивалась, смотрела на лицо парня и повторяла:

— Ты здесь. Ты живой. Мы тебя не отпустим.

Когда повязку сняли, стало ясно, что рана тяжёлая. Осколок прошёл близко к артерии, и, если бы его не вытащили вовремя… я не стала додумывать дальше. В медицине нельзя додумывать «если бы». Можно только делать «сейчас».

Я держала руку парня, пока ему кололи обезболивающее. Держала крепко, чтобы он чувствовал: он не один. И когда он наконец открыл глаза и посмотрел на меня — не сквозь, а прямо, в лицо — что-то внутри щёлкнуло. Не жалость, нет. Ответственность. Как будто мне доверили чужую жизнь, и теперь я обязана её сберечь.

После перевязки парня унесли в палату. Я осталась стоять у стола, чувствуя, как дрожат руки. Не от страха, а от напряжения — как у музыканта, который слишком долго держал

одну ноту.

— Первый? — спросила старшая, возвращаясь с новым листом назначений.

— Нет, — честно ответила я. — На скорой было много. Но это… другое.

— Да, — кивнула старшая. — На скорой ты спасаешь минуты. Здесь ты собираешь дни. Это тяжелее.

В дверях появился санитар с носилками. На них лежал ещё один раненый — пожилой, седой, с лицом, будто высеченным из камня. Он не кричал, не стонал, только сжимал зубы так, что на скулах ходили желваки.

— Этот — упрямый, — шепнул санитар. — Говорит, что не ранен, а просто устал.

— Все они сначала так говорят, — буркнула старшая. — Потом плачут, как дети.

Пока мы работали, я ловила себя на том, что замечаю мелочи: как у пожилого раненого на запястье тонкая нитка — оберег, наверное, как он, даже теряя силы, старается не смотреть на кровь; как шепчет что-то, будто молитву, но слов не разобрать. И я снова заговорила — не о ране, не о лечении, а о пустяках.

— Вот У нас черёмуха цвела, — сказала я, пока накладывала повязку. — Такая белая, будто снег. А запах… сладкий, но с горчинкой. Вы любите черёмуху?

Пожилой раненый чуть приоткрыл глаза.

— У меня во дворе росла, — выдохнул он. — Жена каж-

дый год варенье варила. Говорила: «Это весна в банке».

И вот тут я чуть не сломалась. Потому что вспомнила мамино варенье в чемоданчике. То самое, которое мама сунула «на всякий случай». И поняла, что «всякий случай» наступил.

— Значит, надо будет вам сказать, когда снова зацветёт, — спокойно сказала я, завязывая узел. — Я вам расскажу.

Он слабо улыбнулся — так, что улыбка почти не коснулась губ, только глаз.

Когда закончили, старшая посмотрела на меня и вдруг сказала:

— Ты с ними говоришь. Это хорошо. Не все умеют. Многие думают, что главное — руки. А главное — голос. Пока человек слышит, он держится.

Я что-то хотела ответить, но в коридоре раздался новый звук — не стон, не плач, а твёрдый, уверенный шаг. Дверь распахнулась, и на пороге появился он.

Командир. Тот самый, жених мой, с которым мы не успели пожениться там, за пределами госпиталя. Высокий, прямой, в форме, которая сидела на нём не как парадный мундир, а как рабочая одежда. Лицо усталое, но собранное, будто он держал на плечах не погоны, а весь этот город, всю эту войну.

— Как обстановка? — спросил он у старшей, но взгляд его скользнул по мне. Задержался на секунду — ровно настолько, чтобы я поняла: он меня заметил. Не как тень в коридоре, не как ещё одну медсестру, а как человека, который

здесь что-то делает. Он не хотел выдавать чувства перед посторонними.

— Тяжёлые есть, — коротко ответила старшая. — Но держимся.

Командир кивнул. Потом подошёл к носилкам, где лежал молодой парень — тот самый, первого, кого я перевязывала. Наклонился, посмотрел на повязку, на лицо, на руки, которые всё ещё были сжаты в кулаки даже во сне.

— Он выживет? — спросил командир, не поднимая глаз.

— Думаю, да, — тихо ответила я. — Если не будет осложнений. Мы его не отпустим.

Командир снова кивнул. И в этом кивке было что-то большее, чем простое «спасибо». В нём было доверие.

— Хорошо, — сказал он, подмигнув мне. — Спасибо.

И вышел. Дверь тихо закрылась, но воздух в комнате будто стал легче.

Старшая посмотрела на меня как будто с лёгкой усмешкой.

— Видала? Он редко кого по имени зовёт, а уж спасибо говорит и подавно. Значит, приметил.

Я ничего не ответила, только снова подошла к окну. Но его уже не увидела. За стеклом всё так же была темнота, но теперь она казалась не пустой, а наполненной — дыханием госпиталя, шагами в коридоре, тихим разговором в соседней палате. Дом был потерян, но здесь, среди чужих людей, среди боли и работы, начало прорастать что-то новое. Не такое

тёплое, как кухня с пирожками, но такое же настоящее.

Я достала из кармана маленький платок — тот самый, который мама вложила в чемоданчик. Прижала к лицу, пытаясь поймать хоть тень маминого запаха. Не получилось. Зато получилось другое: вспомнился мамин голос, её слова: «Ты у меня сильная». И вдруг поняла, что это не просто утешение. Это была инструкция.

Сильная — значит, можешь держать чужую боль, не рассыпаясь. Можешь говорить, когда хочется кричать. Можешь помнить про черёмуху, даже когда пахнет только йодом и кровью.

За дверью снова раздался голос — кто-то звал медсестру. Я глубоко вдохнула, спрятала платок и пошла.

Глава 4. Голос, который держит

С утра в госпитале пахло сыростью и железом — будто сама война просочилась сквозь стены и осела на полах, на простынях, на холодных батареях. Я передвигалась по коридору, и каждый шаг отдавался эхом — не потому, что было громко, а потому что тишина стала такой плотной, что любой звук в ней звучал вдвое сильнее. Порой мне казалось, что на моих ногах свинцовые тапочки и я издаю слишком много шума.

Я остановилась у койки, где лежал тот самый мальчишка — тот, с которого началась моя первая ночь в госпитале. Его звали Саша. Имя я узнала только сегодня утром, когда он впервые произнёс его сам, тихо, будто пробуя на вкус, как что-то забытое.

— Саша, — позвала я, подходя ближе и стараясь, чтобы голос звучал ровно, без лишней жалости. — Сейчас я посмотрю повязку. Будет чуть неприятно, но недолго, ладно?

Он кивнул, не открывая глаз. Лицо у него было бледное, почти прозрачное, но на скулах уже проступал румянец — слабый, как отсвет зари. Это был хороший знак. Значит, организм цеплялся за жизнь.

Я аккуратно развязала бинт. Под ним кожа была воспалённой, но не гнилой, края раны не расползались — значит, инфекция не взяла верх. Я смочила марлю в перекиси, ста-

раясь не делать резких движений, и приложила к ране. Все это зашипело, запенилось.

Саша втянул воздух сквозь зубы, но не застонал. Только пальцы на одеяле сжались крепче.

— Знаешь, — тихо сказала я, чтобы отвлечь его, — когда больно, помогает, если думать о чём-то совсем другом. Не о боли, а о чём-нибудь хорошем. У тебя есть что-нибудь такое? Дом, например?

Саша помолчал, будто прислушиваясь к себе — и не только к телу, а к чему-то внутри, к памяти. Потом приоткрыл глаза. Они у него были светло-карие, почти янтарные, и в них сейчас отражалась не палата с белыми стенами, а что-то совсем другое.

— У нас во дворе росла яблоня, — прошептал он. — Старая, корявая, ветки все в трещинах. Но каждый год она цвела так, будто это в первый раз. Мама говорила: «Эта яблоня упрямая, как ты».

Я улыбнулась — не широко, а так, чтобы он почувствовал: я здесь, я слушаю, и ему не нужно стараться быть сильным.

— И что она делала, эта упрямая яблоня?

— Цвела, — повторил Саша. — А потом на ней появлялись яблоки. Мелкие, кислые, но мы их всё равно ели. Мама варила из них компот, и весь дом пах осенью. Даже если на улице было ещё тепло, у нас уже была осень.

Я продолжала обрабатывать рану, но теперь делала это не только руками, но и голосом — как будто мои слова были

ещё одной повязкой, которая держала его на этом берегу.

— Ты помнишь этот запах? — спросила я. — Компота?

Саша закрыл глаза, и на секунду его лицо разгладилось, будто боль отступила, уступив место воспоминанию.

— Помню, — сказал он. — И ещё помню, как мама ставила кастрюлю на плиту и говорила: «Не стой над душой, сейчас закипит». А я стоял. Мне нравилось смотреть, как поднимаются пузырьки. Это было… спокойно.

Я кивнула, не стала говорить, что понимаю. Потому что нельзя сказать «я понимаю», когда ты не лежала на этой койке с осколком в плече. Но я могла дать ему другое: не сочувствие, а пространство, где его воспоминания будут иметь вес.

— Расскажи ещё, — попросила я. — Про двор. Про дом.

И Саша начал рассказывать. Не связно, не гладко, а обрывками — как вспоминается в полусне. Про то, как они с другом лазили на крышу сарая, чтобы смотреть на закат. Про то, как отец чинил колесо велосипеда изолентой, а он держал фонарик, и свет дрожал у него в руках, потому что он боялся уронить. Про собаку Сеню, которая спала у порога и караулила того, кто откроет ей дверь, чтоб выбежать во двор.

Каждое слово было как стежок — не по ране, а по чему-то более хрупкому: по его вере в то, что дом ещё существует, что он не исчез вместе с тем днём, когда его увезли на фронт.

Когда работа была закончена, я закрепила новую повязку и села на табурет рядом с кроватью. Не чтобы уйти, а чтобы

побыть ещё минуту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.